Андрей РАСТОРГУЕВ

ВОЙНА И МИР НИКОЛАЯ НИКОНОВА

Ищущий непафосной правды читатель
и через годы сможет найти её в романе «Весталка»

«Война есть продолжение политики иными средствами…» Уже эта хрестоматийная, почти двухвековой давности фраза прусского генерала даёт понять: как бы ни отрицали друг друга война и мир, смерть и жизнь, они остаются неразделимыми частями земного бытия. И человек постоянно решает, что считать смертью, и что жизнью. А если не решает – тоже делает выбор.

Об этом заставил вспомнить роман уральского писателя Николая Никонова (1930-2003) «Весталка». В 1986 году, когда состоялась его первая публикация, он воспринимался прежде всего как необычный взгляд на Великую Отечественную войну. Сегодня, когда эта война погрузилась в прошлый век, всё более явным становится вневременное, общечеловеческое звучание романа.

Связь времён

Читая детские стихотворные опыты, присланные на всероссийский конкурс «Волшебная строка», одна из номинаций которого в 2010 году была, конечно же, посвящена 65-летию Победы, вдруг явственно ощутил: всё, приехали… Строчки, повторявшие до зубовного скрежета знакомые газетно-учительские штампы, открыто свидетельствовали, что связь времён и поколений, которая и раньше-то была не слишком жива, оборвалась окончательно. Для нынешних детей, подростков да, пожалуй, и учителей Великая Отечественная теперь немногим ближе первой, с Наполеоном, что описана Львом Толстым в его «Войне и мире».

Тем более убедительно – и одновременно безнадёжно – в дни самого юбилея звучали речи о необходимости расспросить последних ветеранов, сохранить их опыт, воспоминания, патриотические устремления, использовать для воспитания молодых и будущих поколений… С той же самой провозглашаемой целью в 1970-е, когда впечатления минувшей войны были куда свежее, люди с боевыми

наградами выступали на самых разных пионерских сборах и комсомольских собраниях, всевозможных линейках и митингах. И не помню, увы, ни одного, чьи слова бы дошли до сердца.

Дело, как сознаю сейчас, не в их или моей собственной слабой памяти или душевной чёрствости. Значительно позже, добравшись до вышедших примерно в то же время маршальских мемуаров, понял, что материал для своих рассказов о масштабных стратегических операциях выступавшие перед нами фронтовики черпали именно оттуда. Соразмерная же человеку непафосная окопная правда для воспитания, судя по всему, представлялась неподходящей и вряд ли поощрялась.

Не входил, насколько помнится, в официальную программу выпускного класса по литературе и целый блок военных повестей, вышедших в 1960-е и прозванных лейтенантской прозой. Правда, чуть более поздние и стоящие особицей «Матерь человеческую» Виталия Закруткина и «Живи и помни» Валентина Распутина, впечатляющие картинами человеческих страданий как от самой войны, так и от попытки уклониться от неё, прочёл и перечувствовал именно в школе. И полагал, что о войне сказано уже всё, и больше просто некуда…

Когда в перестройку на читающую публику пошла новая волна военных книг, сия наивная уверенность, конечно же, рассеялась. Гребнем этой волны обычно считается роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», шокировавший всех в середине 1990-х. Между тем уже в 1986 году журнал «Урал» в тогда ещё Свердловске начал публиковать по-своему ничуть не менее значимую «Весталку».

Не меньшими по накалу – разве что локальнее охватом – оказались и споры вокруг романа. Ещё бы: если многие более ранние книги вкупе с целым рядом кинофильмов акцентировали в жизни фронтовой медсестры акварельные лирические моменты, то никоновская живопись оказалась куда более жёсткой…

Поводом для споров, как водится, стала не правда, а дерзость обнародовать её. Никонов, похоже, первым печатно и во всеуслышание сказал и показал то, что обусловлено самой армейской, а тем более боевой обстановкой: на фронте женщина была не только одной из деталей большой военной машины, целый разряд которых – медицинский – из-за их предназначения принято возвышать, но и просто объектом сексуального вожделения. Подчас и сегодня, говоря о «Весталке», в первую голову упоминают именно это.

С такой пикантной и весьма востребуемой животным человеческим началом точки зрения, фабула романа весьма проста. Жила-была в стольном уральском Свердловске гордая девушка Лида Одинцова. Грянула война, и Лида как медсестра оказалась на передовой в санбате. В отличие от некоторых других своих товарок, блюла себя или, если говорить грубою обиходною речью, не давала ни солдатам, ни офицерам. Пока, наконец, под Берлином, поддавшись уговорам командира полка выпить с ним по поводу своего перехода в офицерский состав, не отключилась…

Результат – беременность и долгие послевоенные мытарства матери-одиночки, которые, впрочем, вряд ли заинтересуют любителя «клубнички». Для него добавим разве, что, памятуя о той первой насильной телесной близости, удовольствия в случайном недолгом замужестве она так и не испытала. То есть «Пепси» не пила и от жизни взяла далеко не всё.

На деле, разумеется, роман далеко и не только об этом…

Тягучий сон войны

С приученными как минимум утверждать, что 22 июня 1941 года вся страна в одночасье стала единым военным лагерем и согласно одной из довоенных песен «как один человек весь советский народ…», Никонов прямо не спорит. Но всё его повествование сразу и твёрдо противопоставляется расхожим лозунгам.

На курсы медсестёр в июле Лида идёт вместе со школьной подругой Валей Вишняковой по комсомольскому призыву. Однако про патриотический порыв героиня, от лица которой ведётся рассказ, не вспоминает, объясняя просто: «Туда же шли многие девочки…, и мы не хотели отставать…» Так и нынче некоторые, не имея особых пристрастий, определяются, в какой из вузов поступать – за компанию.

В первые дни и даже недели война в Свердловске ощущается лишь по радиосводкам, которые рождают недоумение: почему она ещё не кончилась? В магазинах в достатке хлеба, печенья и сахара, работают танцплощадки и продолжаются гулянья на плотинке у городского пруда. Гложет, правда, страх за отца, в конце мая призванного на очередные сборы и отправленного в Белоруссию на строительство укреплений. Но ступора матери и её повторяющегося вопроса «Зачем?» семнадцатилетняя дочь, радостно-гордо сообщившая ей о своём взрослом решении, не понимает.

Накатывает в августе: с оскудением магазинов, очередями за хлебом, карточками, освобождением школ под госпитали, беженцами и затемнением. Впрочем, свет по ночам просто-напросто отключают – а вскоре и не только по ночам. Не способствует оптимизму и «ужасно воняющая тленом и формалином» анатомичка, где юные курсантки наблюдают, как «женщина вроде бы даже красивая, но с какой-то бело-муляжной, отстранённой от обычного женского облика сутью» режет «жуткие, донельзя неодушевлённые тела старух и мужчин».

Тем сильнее хочется героине спасти «от комнаты с цинковым столом и от той женщины» живых, с которыми она сталкивается на практике в госпитале. Но именно в этот госпиталь, расположенный недалеко от вокзала, «направляли самых нетранспортабельных… Искалеченные куски жизни, недобранные войной, ускользнувшие из её лап, они были страшны и непонятны, как те сводки Информбюро, которые становились всё более тягостно краткими, однообразно неясными…»

Информация о реальном положении на фронте приходит не только с адресами отправки «ранбольных», всё более близкими к Москве, но и запахом: на выгрузке из санпоездов «кругом стоял смрад бинтов, загнившей крови, немытых, запачканных тел». Декабрьское контрнаступление под Москвой тоже отозвалось на Урале не только победной радостью, но и новой волной раненых.

Тем более ясно облик войны проступает в челюстно-лицевой группе, куда определили Лиду и «где были почти сплошь тяжёлые – раненые, у которых разбито лицо, оторван язык, снесены зубы, зияли чёрные дыры вместо глаз и рта…». Здесь, где человек лишён не только физической целости, но и самой своей индивидуальности, к юной сиделке и приходит понимание слов бабушки, которая потеряла мужа и двух сыновей на гражданской: «Ой, девки… только войны бы вот не было. Нет хуже ничего войны…» Тех слов, которыми после Отечественной держались и наши бабушки – и потчевали ими нас, слабо ощущавших, что нам когда-нибудь и вправду пригодится знание автомата Калашникова и войскового прибора химической разведки.

Уже тогда, в уральском тылу, Лида начинает привыкать и к звукам выстрелов, что доносились в ночи с заводских стрельбищ. Но выходившие с соседнего завода танки «тогда ещё были для меня просто военными машинами…, и только». Куда страшнее танков голод, когда гарантированного карточками месячного пайка хватает разве что на

неделю, а на рынке на зарплату матери можно купить всего две с половиной буханки хлеба.

К весне 1942-го на этот рынок, который «чёрной шевелящейся тучей затопил окрестные улицы», отправляются все запасённые в семье Одинцовых вещи и ценности. Не в какой-нибудь разорённой боями деревне и не в блокадном Ленинграде – в далёком от фронта Свердловске в ход идут крапива и лебеда. К осени исчезает надежда на посаженную во дворе картошку, цветы которой с тех пор стали напоминать героине о голоде и войне. Как это случалось в недавние и памятные уже нам 1990-е, урожай внаглую выкапывают воры.

Прежде всего от недоедания, а не только от запаха госпиталя, близкого к смертному тлену, Лида валится в обморок на ночных дежурствах. И эти дежурства, когда перед рассветом, исчерпав надежду и мужество, многие тяжёлые умирали, а живые постоянно требовали какой-нибудь помощи, вместе с остальными проявлениями жизни отнюдь не пафосно сливаются в «какой-то беспросветный, тягучий сон, в котором уже всё равно, кто ты… Нет ничего! Есть только госпиталь, раненые, койки, перевязки, стоны, костыли, судна с мочой и кровью, запах ран и тусклый свет лампочек по вечерам…»

Этот сон требует прежде всего терпения – как потом и передовая, где «умение терпеть… преобладало над мужеством, над храбростью, боевой выучкой…» Новый шаг к этому умению героиня делает в октябре, когда получает обмундирование и становится на армейское довольствие. Радуясь своей сопричастности, она надеется вернуться с войны, которая всё равно когда-нибудь кончится, с орденом или с медалью «За отвагу», а то и встретить на фронте отца. По одной из весточек, он погиб при отступлении под Витебском – но ведь бывает, что и похоронные врут...

Что ошибки и впрямь случаются, Лида убеждается на собственном опыте. Выжив при бомбёжке санпоезда и прибившись к артиллеристам, она до конца Сталинградской битвы служит на зенитной батарее. И, неожиданно встретив Валю Вишнякову, узнаёт, что после той бомбёжки числится погибшей, о чём в Свердловск ушло соответствующее извещение. А через несколько месяцев из ответа квартирантки – что преждевременно состарившаяся и заболевшая эпилепсией мать скончалась в больнице, так и получив ни одного из писем дочери. Под тяжестью горя и нескончаемой войны Лида первый раз едва

удерживается от попытки самоубийства, когда палец уже сам собой вдвинулся в кольцо тяжёлой рубчатой «лимонки».

Встреча с Валей происходит в штабе армии, где подавшая рапорт о переводе во фронтовой госпиталь героиня по воле не только пожалевшего, но и явно пожелавшего её начальника могла бы переквалифицироваться в машинистки. За отказом следует немедленное направление на передовую, где Лиды домогается уже комбат. И он же потом, не исключено, мстит ей, задерживая представление к той самой медали «За отвагу» – во всяком случае, вытащив с нейтральной полосы с оружием раненого разведчика, заслуженной награды она не получает.

За несколько едва ли не минут до начала кровавой Курской битвы лишь поцелуями, хотя и «до помутившегося сознания», отвечает она и на чистую искреннюю любовь лейтенанта Алексея Стрельцова. И потом, встретив его раненым в госпитале, где сама отходила после контузии, отказывается от замужества. «…Я сказала, что люблю его, что он у меня единственный. Но замуж не выйду, пока не кончится война. Зачем? Все на волоске. Вдруг убьют. Искалечат. Страх челюстно-лицевой и здесь не оставлял меня…»

Насколько произвольны эти романтические эпизоды, напоминающие о той же лейтенантской прозе, судить со знанием дела, наверное, могут разве что сами фронтовики – или люди, которые, как сам Никонов, с ними глубоко общались. Так или иначе, боязнь передовой, которую впервые ощущает героиня, встряхнувшись от нескончаемого военного сна, не только вполне понятна, но и пронзительна: «В первый раз содрогнулась, когда вспомнила-поняла: завтра снова туда…, под пули, осколки, под бомбы…»

И под танки. Теперь они видятся девушке совсем по-другому – уродливыми детьми войны, которые в бою отнюдь не ползут, а «катятся, мчатся иногда, как гончие собаки». Вражеские – монстрами, как на Курской дуге: «иные из них всё ещё возились, кружа, как кружатся смертельно раненые чудовища, и крик горящих заживо… казался криком этих машин…» И наши, которые на идущих к фронту платформах кажутся ничем не сокрушимыми, а потом… «сколько придется увидеть этих танков – обгорелых, чадящих, со свернутыми или отброшенными башнями, раскатившимися колесами, распавшимися гусеницами, копотью черных пробоин, танков, улитых кровью, с кусками человеческих внутренностей, с ужасным запахом сгорелых человеческих душ…»

И снова – бои, «раненые, убитые, кровь, трупы, траншеи, землянки, бессонные ночи и тяжкие дни. Но было надо. Тяжкое фронтовое – надо!» Забинтовать, утешить, перетащить, отвезти в санбат – даже когда знаешь, что не поможет. И постоянный страх, который «ощущался здесь просто как вечный гнёт, висящий где-то на спине, словно бы от затылка… просто оттеснялся на дальний план…, сжигал потихоньку душу, наподобие торфяного пожара, от которого остаются страшные провальные ямы…»

Годы спустя, когда героиня рассказывает о пережитом, война вспоминается ей как «одна бесконечная тягота», и лишь отдельные эпизоды почему-то «представляются вдруг ярко и свежо, будто прожитые вчера». Как, например, один из боёв, когда она за два дня выносит сорок девять бойцов и, измотанная, падает замертво. Но, будучи тяжело ранена через неделю немецким снайпером в ногу, получает не заветную «За отвагу», а гангрену, которая в одном из свердловских госпиталей едва не приводит к ампутации. И только пенициллин, раздобытый всё той же Валей Вишняковой, к тому времени уже вернувшейся в Свердловск, да травы отысканной ею же знахарки избавляют Лиду от перспективы вдобавок ко всему превратиться в инвалида.

Кончается 1944-й, навоевавшаяся двадцатилетняя девочка наверняка вправе остаться и работать в том же свердловском госпитале. Но, чувствуя, что сделанным ей предложением обязана чьей-то настойчивой просьбе, и не желая обременяющего совесть заступничества, она снова подаёт рапорт об отправке в часть.

В нравственной правоте принятого решения героиня вновь убеждается, когда, ещё прихрамывающая, встречает Новый 1945 год на чужом празднике – в гостях у сожителя Вали, стол у которого ломится от яств, а квартира от роскоши. Ответ на вопрос «Откуда?» приходит едва ли не сам собой: взяв в руки радужный гранёный хрустальный шар, вроде бы похожий на тот, что мать весной сорок второго обменяла на хлебную четвертушку, Лида находит на нём знакомую щербинку. Не просто похожий, а тот самый…

На передовой, бывало, тоже «трусили, лгали, подставляли под пулю другого, чтоб не попасть самому, не выполняли приказ». Но там, несмотря ни на что, «держалось всё на долге, на храбрости, может быть, на отчаянии, на честном святом, на совести, помощи, сострадании, вообще на всём, чем сильны человек и правда».

А жизнь по возвращении снова проверяет на прочность её устремления и надежды. Сначала холодом, от которого она едва не замерзает насмерть на польской дороге. Затем – новым ранением и нежданной беременностью…

Со сковородки в огонь

Даже после астафьевского «Прокляты и убиты» никоновский показ тыла и фронта и того, что война по-своему оставалась жизнью – пускай наизнанку, на мой взгляд, остаётся на особицу. Но и такой показ позволяет лишь смутно догадываться: неужели с другим детским стереотипом – о торжестве выстраданной мирной жизни после победного мая и справедливом вознаграждении вернувшихся к ней фронтовиков – тоже не всё в порядке?

Различных отрезвлений в последние два десятилетия вроде бы случилось достаточно. Но, читая «Весталку», внезапно ощутил: осталось ещё где-то в глубине души от тех же 70-х – да и, наверное, подновляется нынешней пропагандой – такое клише. Как и недобитые остатки взращённой тогда же веры в конечное торжество справедливости и в то, что государство способно-таки вознаграждать тех, кто по-настоящему служит Родине…

На фронте, где «от меня все ждали чего-то, что словно хранилось у меня в избытке, избытком этим я должна была оделить каждого, кто тянулся ко мне», не отступавшая от данного ею обета героиня чувствовала: «оно очень им нужно, этим людям, солдатам, мужчинам». Первое ощущение от мира – не нужна никому.

На порог роддома демобилизованный младший лейтенант Одинцова выходит с сыном на руках в изрядно бэушном, подменённом ушлыми госпитальными кладовщиками обмундировании. Идти ей некуда – прежнюю квартиру закрепила за собой подселённая в сорок первом беженка, а родственники таковы, что не примут. И даже случайная встреча с бывшей однополчанкой, а теперь милиционером Зиной Лобаевой, которая приглашает её в свой барак, не выводит из депрессии. Через три года вернулась туда же – к вокзалу, откуда уезжала на фронт. Чужое жильё, чужая одежда, нищета. Круг замкнулся…

Тогда-то Лида в третий раз решает покончить с собой. Второй был после той беспамятной ночи под Берлином, но отказал поднесённый к виску трофейный «вальтер». Теперь же лаз-проём в заборе, ограждающем железнодорожные пути, заслоняет некрасивая толстая

баба. Сама горькая вдовица и мать троих детей, она по каким-то неуловимым признакам догадывается о намерении героини и увещевает её: «Одна ты, что ли, такая?.. Оживём как-нибудь… терпи-майся, а держись…» И та, возвращаясь, вдруг обнаруживает в мартовской природе первые признаки наступающей весны.

А дальше – снова жизнь. И поиски работы – абы какой, главное с жильём. Такая находится лишь в вечерней школе. И Лида, офицер медицинской службы, обосновавшись в до конца не просыхающем даже от печного тепла подвале, на семь лет становится техничкой и по совместительству сторожихой: подаёт звонки, выметает и выносит окурки, ворочая парты, намывает полы…

Но более всего тяготит чувство третьесортности, принадлежности к низшей касте, которое пробуждают в ней даже приветливые обращения учителей и собственный внешний вид – солдатская гимнастерка, застиранная юбка, рваные, штопаные чулки. Правда, из-за той же формы ученики, сами хлебнувшие фронта, считают Лиду своей. Но оборачивается это ненужным ей ухажёрством, от которого она фактически отгораживается ребёнком…

Многим иным, однако, материнство героини и первое, что приходит на ум обывателю: «Нагуляла!» – мешают разглядеть в техничке израненного фронтовика. К тому же наград нет, новый военный билет почти чист, ранение в нём указано только одно – бумаги затерялись в госпиталях и спецотделах, а ходить и писать по инстанциям, добиваясь справедливости, Лида не желает. Лишь через семь лет ей вручают медали «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Отечественной войне» – самые обиходные, которые к тому времени уже «есть у всех… тыловиков, хозяйственников, штабных машинисток, прачек». И тут же, практически без паузы, её пытаются вернуть в сержантский состав – мол, работая не по профессии, теряет квалификацию…

Не помня себя, прямо там, в военкомате она пытается показать все свои шрамы, которые в общественной бане вызывают едва ли не всеобщее удивление и сострадание. Не самих погон, разумеется, жалко – слишком дорогой ценой, в том числе послевоенного унижения, достались они ей. И лишь тогда – и то благодаря поддержке вспомнившего её боевого офицера – оживает бюрократическая машина, а через полмесяца самоуверенно-сытый чиновник райжилуправления,

который до того явно дожидался от неё взятки, выписывает ордер на отдельную комнату в коммуналке.

Оказалось, из огня да в полымя или, как говорит героиня, припоминая английскую пословицу – «со сковородки в огонь». За несколько мирных лет когда-то фешенебельные по довоенным советским меркам «госпромураловские» дома в центре Свердловска, в одном из которых она памятно встречала 1945 год, оказались густо населены разношёрстным людом. Если не пыткой, то новым испытанием становятся табачный дух, кухня, ванная и туалет, унылый двор с протаявшим мусором, трубящие и рычащие расхлябанные краны и трубы, но пуще того – невозможность уединиться, ибо посторонняя суета днём и ночью проникает через не только двери, но и полы с потолками. Отдельное бедствие – радио, непрестанно бормочущее отовсюду.

Деградацию официальной мечты о рае для трудящихся символизирует и громадная, построенная «с размахом тридцатых» с мраморными лестницами, колоннами и баллюстрадами – похоже, та самая, что нынче уже превратилась в известные всему нынешнему Екатеринбургу руины – больница, в урологическое отделение которой Одинцова устроилась работать по нелюбимой, но единственной своей специальности. «Наглухо заперты балконы. Площадки для гулянья завалены списанными с войны, видать, койками, заколочены двери, забелены вентиляторы…» Заперли и заколотили, оказывается, после того, как в войну один из раненых, утративших надежду на полноценную жизнь, бросился с балкона вниз на мостовую.

Так же в сорок втором в поезде, который вёз Лиду и других медсестёр под Сталинград, когда одна из девушек спрыгнула и разбилась о железнодорожную насыпь, начальник распорядился все вагоны на время движения запирать. И тем едва не угробил всех – благо во время уже упоминавшейся бомбёжки повар Степан Анисимович за минуту до прямого попадания всё-таки успел откинуть щеколду...

Урология испытывала не только количеством больных, половину которых составляли бывшие раненые, работой на две ставки и вновь ночными дежурствами, но и самим характером заболеваний, обнажавших обычно скрываемую тайну. Это обнажение, чувствовала героиня, вытравляло «способность чувствовать себя слабой, стыдливой, милой, непричастной, некасавшейся. Такое не всегда рубила в женщине и война…»

Но стеснённое обстоятельствами и обетами женское начало в Одинцовой пробивается из-под спуда. На неё опять заглядываются мужчины, а за самого настойчивого из них, таксиста Самохвалова, она даже соглашается выйти замуж. Благодаря не столько плотскому порыву в ответ на его объятия – «что-то вдруг лопнуло во мне, раскрылось, обдало жаром…», сколько тому, что он в профиль неуловимо напоминал Алёшу, навсегда потерянного, навсегда моего».

Вблизи, однако, муж «оказался он куда более примитивным, чем казался вначале», а в постели в нём вдруг проступал всё тот же давний командир полка, забыть жёсткие руки и водочно-табачное дыхание которого героиня так и не смогла. К тому же и у неё начали проявляться эпилептические припадки. Прожили вместе в итоге недолго, не сойдясь ни телами, ни ещё более душами. А поскольку снова понадобилось где-то жить, уже более чем освоенную урологию сменила на работу в городском доме ребёнка, где предоставлялась казённая жилплощадь.

Сын, пошедший характером и склонностью к армии в никогда не виданного им отца, к тому времени учился в суворовском училище, а потом поступил в офицерское и всё более отдалялся. Но маленькую светлоголовую девочку Одинцова удочеряет не от нового одиночества – скорее, та «уматеряет» героиню, только на её руках и прекращая свой громкий рёв. И оказывается потом «существом совсем не плаксивым, не крикливым, скорей наоборот, улыбчиво-радостным, улыбчиво-чутким» – так что ради неё Лидия в конце концов задумывает уйти из скорбного сиротского дома.

Наконец-то ей вручают долгожданные награды – сразу две: медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны второй степени. Они ещё ценятся, и не только фронтовиками. Однако радость горька, ибо «нет того давнего строя на вытоптанном, облитом соляркой, обожжённом войной плацу, ни тех солдат…, ни даже той девочки, круто перехваченной солдатским ремнём…» Именно тогда, перед тем строем мечтала она получить эти свидетельства признания своего тяжкого труда.

Плата за жизнь

Потихоньку всё образуется – завершается гештальт, и роман клонится к завершению. Неожиданно встретив бывшую соседку по роддому, разрешившуюся тогда «не то пятым, не то седьмым сыном», героиня переселяется в её опустевший – дети выросли да разъехались –

дом. И, относясь к ней как к вновь обретённой матери, впервые ощущает защиту, высыпается в тишине и покое, телесном и духовном. В городе после долгого перерыва снова видит Валю Вишнякову, уже почти генеральшу, и спившуюся Зину Лобаеву. Умирает неожиданно встреченный снова Степан Анисимович.

И даже гибель сына, что подорвал себя и душманов в афганском ущелье, становится развязкой долгой истории, которая заплелась в том же поезде, что вёз Лиду на фронт. Ибо именно тогда тот самый комбат, ставший потом комполка, возник на её жизненном горизонте. И неожиданно – ещё одна фабульная развязка – возникает снова: сначала силуэтом, мелькнувшим на трамвайной остановке, а потом в одной из многоэтажных новостроек городской окраины, куда героиня в качестве патронажной сестры госпиталя инвалидов Великой Отечественной приходит делать укол…

Читатель, понимающий, что даже столь подробное изложение романной канвы оставляет за кадром множество деталей, и располагающий желанием и временем, конечно же, обратится к первоисточнику. Судя как минимум по некоторым отзывам в интернете, такие люди по-прежнему есть. Но дойти до библиотеки сегодня, безусловно, может не каждый, и даже дойдя, книги может не обнаружить – тем более за пределами Урала. Нет, по-моему, полного текста «Весталки» и в той же всемирной паутине. Поэтому надеюсь на прощение за длинный пересказ, обращённый прежде всего к тем, кто живёт в цейтноте.

Тем более не слишком осмыслена эта книга за минувшее время критиками и литературоведами. Хотя простор для их деятельности видится в ней изрядный.

Особого разговора, да ещё в сравнении с другими повестями, романами и целыми писательскими судьбами, как у Юлии Друниной, безусловно, требует тема «женщина на войне». Просит дополнительного объяснения и анализа местами очевидная, но всё же не скрывающая разности замыслов перекличка с «Пастухом и пастушкой» того же Виктора Астафьева – постоянного если не соперника, то собеседника Никонова.

Отдельная тема – мастерство, с которым автор выстраивает композицию, постепенно проявляя взаимосвязи и значение отдельных событий. Размышлений заслуживают, казалось бы, второстепенные герои и отдельные сюжетные линии, которые не просто оттеняют

главную, но складываются в единое полотно почти полувека военной и мирной жизни России-СССР, пожалуй, впервые представив её через линзу конкретного уральского города не в обезличенном величии, а в масштабе конкретного же человека.

Своеобразным противовесом обытовлению становятся в романе античные мотивы. Заявленные названием, которое сопоставляет путь Одинцовой с судьбой древнеримских служительниц богини домашнего очага, и акцентами возникающие в разных местах текста, эти аллюзии, помимо прочего, подчёркивают: делать выбор между личным счастьем и долгом человеку приходится в любом веке. И каким бы ни было время, этот выбор всегда есть. Всегда остаётся возможность не упасть, не сломиться под его тяжестью, причём как телом и душой, так и умом.

Именно это удаётся героине, когда, не желая и духовно опуститься до положения незаметной школьной технички, она тайком обращается к ещё дореволюционным, с ятями залежам русской классической литературы и мировой философии, хранящимся под замком в библиотеке. После пережитого на войне и Толстой, и Достоевский кажутся ей поблёкшими, далёкими от жизни. Но именно книги постепенно воскрешают бывшую и будущую сестру милосердия и возвращают ей «женское понимание жизни и самой себя».

Некоторым из размышляющих читателей, судя по отзывам, это обращение героини к литературе даже притом, что его мотивы подробно объяснены автором, кажется искусственным. Но Лида-Лидия Одинцова – отнюдь не жертва времени и человеческой душевной черноты. Решение, куда и как совершить следующий жизненный шаг, пока хватает сил, она принимает сама – и это ещё одно свидетельство её изначальной склонности к духовному труду вопреки обстоятельствам.

К Толстому отсылает и концовка романа, в которой Одинцова возвращается из Москвы с уникальной международной медалью имени Флоренс Найтингейл, вручаемой военным медсёстрам. Награду она встречает не то, что без особой радости – просто «как будто усвоила, что долг и есть плата за жизнь, её оправдание и, пожалуй, счастье». И увиденный из поезда дуб, что стоит в предгорьях Урала, «как осиротелый воин, …приопустив к земле огромные черно-могучие и узловатые сучья-руки», совсем как Болконскому в «Войне и мире», напоминает ей: счастье есть сама жизнь и «то, что люди называют правда – истина, всегда возвышающая человека, дающая ему силы и верить, и терпеть, и надеяться, когда все кажется разбитым, а жизнь

невыносимой. И есть мужество, качество только человека, которым он может противостоять любому злу, самой судьбе…»

При всей своей склонности к этой истине героиня отнюдь не спешит осуждать тех, кто живёт по иным правилам. Тем более что именно «неправильные» и с виду некрасивые люди приходят ей на помощь в действительно критические дни её жизни. Даже чиновника, который отправил её в коммуналку, она в душе благодарит – во всяком случае, пока не обнаруживает сходство коммуналки с пыточной. И отца своего сына, и тем более мужа не мажет одной только тёмной краской. И даже окончательно поместив человека на сумеречную сторону, не проклинает его, а просто отодвигает, забывает о нём.

Благодаря тому, что к концу жизни, ища и находя радость в собственной душе и памяти, героиня по воле Никонова доверяет эту правду бумаге, почерпнуть её может и нынешний читатель, которого тоже постоянно проверяют на прочность мир и война, неотрывные друг от друга. Сегодня, когда нас всеми силами отучают от подвергнутого осмеянию патернализма, современник вряд ли поверит, что «государство никогда не оставляет без внимания тех, кто честно трудился и отдавал всего себя, не щадил своего здоровья и жизни для защиты Отечества». Тем более что и российский премьер-министр сказал эти слова 7 мая 2010 года накануне юбилея Победы как бы императивно: надо сделать так, чтобы…

Но вместе с необходимостью выбирать остаётся вера в людей, их способность физически и духовно поддерживать друг друга. Людей, которые, несмотря ни на что, остаются народом и в войне, и в мире. Этим подспудным обращением к общинности, соборности как главному и, похоже, единственному средству выживания и в нынешние времена «Весталка» напоминает о другом романе – «Своим чередом», рукопись которого вышла из-под пера другого уральского писателя Зои Прокопьевой и увидела свет в Челябинске примерно в те же годы (см. «Потаённая книга»). Не исключено, что современный пристальный взгляд сумеет обнаружить новое понимание патриотизма, отнюдь не совпадающее с официальным пафосом, но вполне духоподъёмное и в целом ряде иных литературных произведений 1980-х.

2010 г.